

венных сил. Отсюда автор делает вывод: «Путь к демократии лежит через диверсификацию экономики и непреременный отказ от производства только сырьевых товаров» (257) «Если производственная система страны лишена деятельности с возрастающей отдачей и синергическими эффектами, без них страна становится не интегрированным национальным государством, а родовым сообществом» (231). Читая эти строки, невольно вспоминаешь наш Кавказ и северные территории. В сырьевой экономике нет оснований для демократического устройства общества, так как диверсификация экономики слишком слаба. По этой же причине не может появиться и развиваться средний класс — ему просто нечего делать. «Создание сектора обрабатывающей промышленности, а за ним и демократии считалось частью одного процесса — цивилизации. <...> Существует близкая связь и необходимая зависимость между двумя этими явлениями — свободой и обрабатывающей промышленностью»

(117). Так виды экономической деятельности влияют на государственное устройство, а экономическая политика предопределяет, «в какие паруса дуют» рыночные силы.

В целом в книге Эрика Райнерта отвергаются догматизм в экономической теории, фетишизация свободной торговли, частного предпринимательства и глобализации. Экономические законы не действуют автоматически, нельзя игнорировать субъективные факторы общественного развития. В сущности, это подход с позиций здравого смысла и учета реальных фактов экономической действительности. То, что произошло с нашей страной и экономикой в последние 20 лет, в каком состоянии находится она сегодня и какие возможны варианты ее развития в будущем, легко понять с позиций альтернативной экономической парадигмы другого канона, как определил свой методологический подход Эрик Райнерт. Это и есть лучшая оценка рецензируемой книги.

Николай Расков

АФФЕКТИВНАЯ НАУКА

Игорь Исаев. Господство: очерки политической философии.

М.: НОРМА, 2011. — 351 с.

Отечественная книга по политологии — это, как правило, школьное сочинение с обширными цитатами из чужих учебников и монографий. Скучно и глупо. Читать такое нет никакой возможности. Лучшие из лучших пишут и думают на языке торговых соглашений и подзаконных актов. В недра не спускаются, зато окрестности рисуют довольно точно. Там конвенция, здесь

конституция, тут выдержка из меморандума — и дело в шляпе. Исаев как будто принадлежит ко вторым. Его книга — пересказ теорий, но не как у всех. С идеей. Последовательно переходя от одного текста к другому, он старается доказать, что на нынешнем этапе развития гуманитарного знания политическое есть тайна и изучать ее следует соответственно. Не дедукцией и ста-

тистикой, а поэтически, как раньше, когда не было ни науки, ни ученых. Тратат о политике близок к цели, если его пишет человек с сознанием богослова, у которого фигуры Бога и Суверена накладываются друг на друга до полной неразличимости. Остальные подходы суть профанация. Отсюда уважение Исаева к работам Жоржа Багая и участникам его парижских семинаров. Ему нравится их атеистический мистицизм. Внимание к Шмидту и Ницше питается из того же источника.

Вообще политологи, когда дают волю чувствам, любят изображать из себя ученых. Не таких сухих, как физики, но тем не менее. Категории, термины, графики, балансы, диссертации. Некоторые индивидуумы умудряются подтянуть к себе высшую математику и сложные алгоритмы из тригонометрии. Якобы у них есть раз и навсегда установленный предмет изучения, осязаемый и прочный, не хуже, чем у химиков и лингвистов. На вопрос «Чем же вы занимаетесь?» с ходу отвечают: властью. Когда копаешь дальше и просишь определения, начинается унылый тьяни-толкай вроде того, что устроил Пятигорский на своих лекциях о политической философии. Власть, утверждал он, это когда один человек посылает другого, чтобы тот нашел третьего и передал ему план действий. Вопрос, почему они поступают именно так, а не иначе, начинает шатать основы. Оно и понятно. Скажет: из-за денег — уйдет в экономику. Завернет в трепетание душ — попадет к психологии. Трах-бах — бросайте кафедры и расходитесь по домам. Нечего людям головы морочить.

Иногда, правда, спор переходит на личности: дескать, ладно я, но как же великий Макиавелли? Неужели вы считаете, что он ниче-

го не понял? Разве секретарь Борджиа мало соображал в политике? С последним спорить трудно, ибо карьера у него была дай бог всякому. Однако, если внимательно приглядеться к его теории о том, почему есть власть, а не свобода, легко найти прокол. Отвечая, Макиавелли любил рассуждать о доблести как о главном качестве политика. Дескать, если она есть, значит, может вести людей, если нет — не может. Почему меня слушают? Потому что слушают. Явная тавтология. Он хорошо рассказывал истории, делал удачные обобщения, но разве это результат? Можно, конечно, но толку-то? Знаний все равно не прибавится. А хочется именно их. По крайней мере тем, кто интересуется.

Анекдоты из жизни политиков, особенно римских, с кровавыми подробностями и сальными отступлениями, — вещь невероятно увлекательная. Но наука, если мы действительно говорим о ней, создавалась не для интеллигентского досуга. Она ищет суть. Если на то пошло, ей нужна сердцевина явления, та скрытая от глаза реальность, которая определяет его порядок. Говоря о Цезаре или, как сейчас любят, о Гитлере, ей почти не интересна хроника, вся эта беготня с лозунгами и оружием, ибо она уверена: за событиями политической жизни стоит нечто большее, чем хаос и случайность. Это как с геологией. Цунами бушуют, вулканы извергаются, а ученый знает: литосферные плиты движутся. То же самое и тут. Нужна формулировка, которая раз и навсегда сделает прозрачной основу основ господства и подчинения.

Надо сказать, положение дел в современной политологии мало чем отличается от понятийной и содержательной невнятицы, царящей в психоанализе. О чем го-

ворят аналитики? Что скрывается за их словами и натужными улыбками? Могут ли они, не снимая руки с детектора лжи, описать путь поэтического переживания начиная от зарождения в темных глубинах естества и заканчивая силлабо-тоническим стихом? Чтобы ни точка шла от образа к волнению крови и обратно? Разумеется, нет. Об этих вещах они ничего не знают. За что же им присуждают научные звания? За мощь обобщений? Качество хорошее, но какое отношение оно имеет к познанию реальности? Умнейшие из политологов, равно как и из психоаналитиков, — это те, кто решительно оставляет игру в большую науку и переходит к публицистике и литературе. Во-первых, так удобней, а во-вторых, честней. Вместо безапелляционного диктата — условная общезначимость, рассказ историй с открытым финалом, где читатель раз за разом остается перед выбором: хочешь — доверяй, нет — ищи дальше. В ситуации, когда вопрос жизненно важен, а ответ, в силу особенностей проблемы, не может быть окончательным и бесповоротным, другого выхода нет. Примерно так было в биологии до открытия гена.

Если почитать Дарвина, то первое, что бросается в глаза, — стиль. Мэтр писал как хороший романист. Его заметки о зверях и растениях — это профессиональные зарисовки опытного художника слова. Теоретические соображения изложены не хуже. Местами они почти поэма, особенно когда речь заходит о естественном отборе. Смерть проигравшего подается в выражениях шекспировского размаха. Король Лир и леди Макбет в декорациях экзотического леса. Оркестр, дирижер и рукоплескания публики прилагодятся. Дарвин умел увлекать расска-

зом, ибо там, где нет оснований для строгости, где истина не диктует свою волю напрямую, без посредников, ученый неизменно превращается в писателя. Естественно, ему хотелось бы уйти из эстетики и оканзаться в другом лагере, в компании тех, кто достиг в своих поисках геометрической прозрачности, но счастье это выпадает далеко не каждому. Кому повезет. Теперь же, когда тайна наследственности перестала быть тайной, текст биолога мало чем отличается от текста математика. Страницы от начала и до самого конца забиты формулами и графиками, разобраться в которых может только человек, прошедший соответствующую подготовку в профильном вузе.

Кстати, как говорят специалисты, в частности Эленбергер, Зигмунд Фрейд был чрезвычайно одаренным литератором, и если бы не успех психоанализа, то он запросто мог бы стать известным писателем. Научной строгости в его книгах очень мало, хотя претензия есть. Время тогда было такое, что без позитивизма, по крайней мере без хорошего муляжа, не обходилась ни одна публикация. Разве что Юнг, но нужно понимать, что независимость его суждений и рискованные эксперименты с алхимией держались не столько на силе убеждения, сколько на незыблемом финансовом положении его семьи. Будь он стеснен в средствах так же, как его венский коллега, ему пришлось бы связывать себя рамками моды. Нищета ломает если не всех, то многих, и самые отчаянные мечтатели в конце концов смиряются с естественным порядком.

Куда движется политолог, осознавший действительное положение своих штудий? Как правило, в религиоведение и рафинирован-

ную мистику. Пока не найден ответ или хотя бы язык, на котором он может быть произнесен, любое высказывание, претендующее на объективность, не более чем метафора, иногда удачная, иногда не очень. И теология среди них не самая плохая — возможно, лучшая. Дело в том, что в момент игры господства-подчинения человеческое сознание находится в особом состоянии, которое Дэвид Юм, а вместе с ним и многие другие философы Просвещения называли аффектом. Чем оно отличается от остальных? Тем, что в аффекте сознание замирает и действия, какое бы оно ни было, совершается помимо человеческой воли, как будто телом руководит кто-то другой. Звучит как затравка для вульгарного сюжета, но давайте вспомним: насколько мы контролируем себя в припадке ярости? Во время сильного сексуального влечения? В страхе? В моменты, когда страсть полностью завладевает разумом, то небольшое, что отличает нас от животных, а именно способность видеть себя со стороны, куда-то улечивается, и на земле остается чистый зверь, объятый желанием.

Где разница между разъяренным человеком и разъяренным медведем? Сознание ушло, его нет, а тело движется и даже говорит. Не бред, а вполне конкретные вещи. С чем мы имеем дело? Юм, когда открыл для себя аффект, отказался искать ответ на вопрос о природе этого явления: мол, как можно рассуждать о вещах, лежащих за пределами языка? Понимание существует в перерывах между аффектами. Когда они приходят, сознание слепнет; когда они уходят, сознание прозревает. Сознание и аффект никогда не встречаются, и, следовательно, все рассуждения об ассоциации

идей во время неистовства — не более чем предположения, которые, как водится, часто лгут. Что же делать? Отказаться от любопытства? Ни в коем случае. Юм, разобрав, что к чему, перешел к описанию ситуаций, когда аффект случается сам собой. Ход, в принципе, стандартный. Если невозможна позиция изнутри, то почему бы не выйти вовне? Пусть я не помню себя во время страсти, но это нисколько не мешает мне, будучи в здравом уме и твердой памяти, наблюдать ее стороны, когда она завладевает другими.

Разумеется, все понять не получится, но кое-какие выводы сделать можно. Например, о том, что тщеславие, чувство собственного положения в обществе, — мощнейший источник страстей. Резкое падение вниз по социальной лестнице, равно как и резкое возвышение, кружит голову не меньше, чем самый забористый алкоголь. То же самое относится к желанию обладать женщиной. Историй про юношу, лишившегося рассудка из-за девушки, пруд пруди. Какой отсюда вывод? Аффект — это симптом, посредством которого дает о себе знать нечеловеческое в человеке. Двигаясь синхронно с базовыми инстинктами млекопитающего, он очерчивает границу, отделяющую дух от материи, произвольность человеческого поступка от природной связности звериного желания.

Возвращаясь к политологии, можно спросить: чем отличается аффект политический от, скажем, аффекта сексуального? Феноменологически — ничем. Есть сознание — есть сознания, а в промежутке — нечто, имеющее прямое отношение к эволюции белков, к наследию борьбы за выживание на протяжении последних нескольких сот тысяч лет. На первый взгляд может показать-

ся, что этого мало. Даже слишком. Где подробности? Где математика и логика? К сожалению, они пока невозможны. Нам остаются метафоры, метафоры и еще раз метафоры. Как мы уже говорили, теология — одна из лучших. Почему? Потому что та ее часть, которая касается мистики, имеет дело непосредственно с одержимостью, то есть с тем же самым аффектом. Святой, бьющийся в экстазе, — разве можно говорить о нем в терминах сознания? Его цель, весь смысл его отшельничества есть аффект в самом прямом и brutальном смысле этого слова. Чтобы убедиться, достаточно прочитать любой из монашеских дневников: византийских, русских, сербских — не важно. Их тысячи. Симеон Новый Богослов, константинопольский отшельник из XI века, запершись в келье, подробно описал, как день и ночь ждал божественного света. В его книгах ясно и четко зафиксированы все стадии исчезновения сознания — от яркой вспышки перед глазами до особого давления в области сердца. Конечно, будучи верующим, он ни секунды не сомневался

в сверхъестественном происхождении своих переживаний. Но разве это остановит исследователя? Конкретики тут гораздо больше, чем во всех остальных текстах, посвященных неистовству.

Вывести на поверхность ритм бессознательных реакций, движение вверх-вниз по эмоциональной лестнице — это верующим удалось как нельзя лучше. Причем тут политология? Общность объекта позволяет перебрасывать сюжеты из одних разделов знания в другие. Социологи поступают так ежечасно, заимствуя нужные ходы и концепты из гуманитарных и даже естественных наук. Лишь бы результат был. Что касается политологии, то экстатические переживания единства с обществом, иррациональные надежды на помощь высших классов, поиск неполитических выходов из политических проблем и многое-многое другое как нельзя лучше совпадают с магистральным сюжетом отношений мистика с его божеством. Картина одна. Отсюда и интерес.

Максим Горюнов